

СЛАВЯНОФИЛЫ КАК ОНИ ЕСТЬ

Все участники этого движения избегали называть себя «славянофилами» из принципиальных соображений. Они знали, что этот термин ввел во всеобщее употребление их идейный противник Белинский, и, как им казалось, термин неточно выражает сущность их учения. Только с середины 50-х годов славянофилы «смирились» и не стали противиться общепринятому словоупотреблению.

Белинский в печати впервые употребил термин «славянофилы» в статье «Русская литература в 1843 году», то есть в январском номере «Отечественных записок» за 1844 год. Вот цитата из его статьи: «У нас есть поборники европеизма, есть славянофилы и др. Их называют литературными партиями¹. До этого критик обходился другими обозначениями славянофильской партии: «рас-

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 72. Н. П. Барсуков ошибочно относит ввод Белинским этого термина во всеобщее употребление к 1842 году (см.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Ки. V. СПб., 1892, с. 466). В 1842 году Белинский только один раз употребил это слово в письме к В. П. Боткину от 9—10 декабря, и, конечно, тогда никто, кроме адресата, об этом не знал. Видимо, не пошло оно и от Герцена, употребившего его независимо от Белинского один раз в своем дневнике, в записи от 29 июля 1842 года.

кольники», «староверы»¹. Но Белинский не выдумал этот термин, он взял его из эпохи борьбы карамзинистов с шишковистами, из стихотворения Батюшкова «Видение на берегах Леты» (1809), где кипящий в реке забвения бездарный стихотворец, приверженец церковной славянщины, восклицает: «Я есмь зело Славенофил». Оно встречается в «Опасном соседе» В. Л. Пушкина, в басне А. Е. Измайлова «Дядя и племянник — славенофилы», в литературном обозрении А. Ф. Мерзлякова за 1812 год в тех же значениях: противники нововведений, варяго-rossы. В этом смысле слово «славянофил» употребил и Белинский в 1844 году, обозначая им современных ему шишковистов, людей отсталых вкусов. Значительно позднее, видимо, передавая салонные разговоры 40—50-х годов, неудовольствие введенным термином выразил славянофил А. И. Кошелев: следовало бы, писал он, точнее называть нас «туземниками» или «самобытниками», хотя и эти клички не вполне бы нас «характеризовали»². «Русофилами» не хотели называться: слишком официозно. Всякий термин, как известно, хромает. Но термин «туземники» был бы, пожалуй, совсем неудачным: ведь не все в своей земле одобряли славянофилы. «Самобытники» — лучше: тут передается нечто важное в учении славянофилов, ратовавших за сохранение и развитие своеобразных сторон русской культуры, русской «души». Но поскольку они славянам приписывали некую всемирно-историческую и даже спасительную роль по отношению к остальному человечеству, то слово с частицей «фил»

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, с. 289 и др. Интересные сведения о происхождении термина «славянофилы» см. в работе Ю. С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века» (М.—Л., «Наука», 1965, с. 321—324).

² См.: «Записки Александра Ивановича Кошелева (1812—1833 годы)». Берлин, 1884, г. 78.

оказывалось весьма на месте: оно обозначало пристрастие к славянам, переходящее в крайность своего рода. Таким образом, введенный Белинским термин «славянофилы», сначала с ироническим¹ оттенком, потом в понятийно-серьезном значении, отражал наибольшее число аспектов проблемы. И, видимо, поэтому этот термин «победил».

Славянофильское движение имеет свою периодизацию. Его предыстория охватывает 1827—1839 годы с первых попыток части дворян, сразу же после поражения декабристов, осознать свою особенную позицию в литературе (письмо Ивана Киреевского к А. И. Кошелеву от августа — сентября 1827 г.) до записок Хомякова «О старом и новом» и Ивана Киреевского «В ответ А. С. Хомякову», появившихся в 1839 году, в которых была сформулирована четко и полно в своих основах славянофильская доктрина; обе записки не были напечатаны, но они оживленно обсуждались в московских салонах и воспринимались как программные документы. С 1840 по 1847 год славянофильство оформляется как идеологическое течение, ведет на страницах журнала М. П. Погодина и С. П. Шевырева «Москвитянин» (с 1841 г.) и затем в собственных «Московских сборниках» на 1846 и 1847 годы пропаганду своих идей и полемику с Белинским и «натуральной школой». В 1848—1854 годы славянофильство, как и вся русская литература и другие идеологические течения в России,

¹ Этот иронический оттенок тут же был подхвачен Н. А. Некрасовым в краткой специальной заметке, как бы из жанра уличных городских «физиологий», под названием «Славянофил», помещенной им в альманахе «Первое апреля» в 1846 году. Странно вырядившегося в старорусскую одежду славянофила прохожие на улице принимают за «настранца». Белинский, в свою очередь, перепечатал некрасовскую ироническую зарисовку в своей рецензии на альманах «Первое апреля», появившейся в «Отечественных записках» (1846, № 3).

испытывает особенно тяжелое давление николаевской реакции. Изданный ими «Московский сборник» 1852 года подвергается гонениям властей, а следующие его выпуски вообще запрещаются. Однако с начала «эпохи гласности» и подготовки реформ в 1855—1861 годах славянофильство переживает, может быть, наибольший расцвет: издается журнал «Русская беседа», газеты «Молва», «Парус», «Москва», «День». Они надеются практически облегчить участь народа путем развития общинных начал, помохи пробуждающемуся славянскому миру. Но в 1856 году один за другим умирают братья Киреевские, в 1860 году Хомяков, а через год Константин Аксаков. Затем эпоха реформ наносит смертельный удар всем надеждам славянофилов, так как открылись пути капитализму в России, разлагавшему общинные устои, несшему с собой новые классовые противоречия. Славянофильство переживает агонию и, в деятельности Ивана Аксакова, Самарина, превращается в реакционный панславизм и в литературе и критике утрачивает почти всякое значение.

В особую себе заслугу славянофилы ставили, так сказать, живорожденность их кружка, возникшего незаметно для самих участников, «без всяких предвзятых мыслей и видов», на основе взаимной дружбы¹. Славянофилы любили делать выпады против «диктатуры» Белинского, якобы насильственно создавшего вокруг имени Гоголя «натуральную школу». Но известно, что прочие кружки — в Москве или в Петербурге — тоже создавались на основе не меньшей личной сердечной симпатии, преданности друг другу и долгу (кружок Герцена — Огарева, кружок Станкевича, общество петрашевцев). Славянофилы бравировали «сродством душ».

¹ «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 68.

Когда Константин Аксаков защищал в 1847 году магистерскую диссертацию о Ломоносове, на поддержку ему во время торжественного акта в круглом зале Московского университета собралась почти вся «любезная славянская дружина»¹. И действительно, наиболее активную часть деятелей славянофильства — Хомякова, братьев Ивана и Петра Киреевских, братьев Константина и Ивана Аксаковых и Самарина — можно было назвать «дружиной»: так они единодушно и спаянно держались. Многие свои боевые манифесты они обсуждали сообща.

Славянофилы любили собираться у Хомякова, с 1844 года — в доме на Собачьей площадке. Это был, можно сказать, главный очаг славянофильства, где в специальной «говорильне», комнате, прокуренной дымом папирос, обставленной диванами по всем четырем стенам, спорили до утра. Как и всегда, над всеми царил сам Хомяков, главный зачинщик в спорах и оплот славянофильской школы².

Реже собирались в доме Аксаковых на Смоленской площади и в подмосковном Абрамцеве. Наиболее рьяными были Константин и вечно ему оппонировавший младший брат Иван. Сестра Вера разделяла страстные убеждения кружка. Об этом свидетельствует ее дневник. Иногда в споры вступал самый благоразумный из Аксаковых, старик Сергей Тимофеевич, писатель-реалист, друг Гоголя и Щепкина, не во всем согласный с убеждениями своих детей.

С осени 1843 года, по средам, собирались у Ивана Киреевского, по вторникам — у поэта Языкова, у престарелого Федора Глинки на Садовом кольце, близ Спасских казарм, — до 1844 года по понедельникам, собирались даже у «западника» Чаадаева, жившего во

¹ «Дневник Елизаветы Ивановны Поповой». СПб., 1911, с. 41.

² См.: «Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века», под ред. Н. Л. Бродского. М.—Л., 1930.

флигеле на Басманной, иногда у Н. Ф. Павлова, женатого на поэтессе Каролине Яниш, чей богатый дом помещался на Рождественском бульваре.

Но особенно прославились два салона: Авдотья Петровны Елагиной в Хоромном тупике у Красных ворот, где собирались по воскресеньям, и у красавицы Екатерины Александровны Свербеевой (в доме на Тверском бульваре), принимавшей по пятницам (А. И. Тургенев прозвал ее Рекамье-Свербеевой).

Об Авдотье Петровне Елагиной, по первому браку Киреевской, все мемуаристы (Т. П. Пассек, П. В. Анненков, П. И. Бартенев) оставили самые теплые воспоминания, рассказы. Поистине панегирик ей написал К. Д. Кавелин в связи с ее кончиной (1877)¹. Она была не только гостеприимной хозяйкой, но матерью двух братьев-славянофилов — Ивана и Петра Киреевских. Она дала им блестящее образование. Их наставником, привившим им патриотические чувства, был родственник Елагиной поэт Жуковский, живший в 1813—1815 годах в ее родовом имении Долбино под Белевом (ее бабушка М. Г. Бунина — жена А. И. Бунина, отца Жуковского). Перед тем в Белеве жила ее тетка Протасова с двумя дочерьми, одна из которых, Мария Андреевна, была возлюбленной Жуковского, воспетая им в стихах. А. П. Елагина была образованной женщиной, любила Расина, Руссо, Бернардена де Сент-Пьера, Сервантеса, Жан-Поля Рихтера.

Ее муж, Алексей Андреевич Елагин, также был образованным человеком, он привил детям интерес к немецкой романтической философии. Сам переводил любимого им Шеллинга. Он был участником войны 1812 года, заграничных походов русской армии, состоял в родстве с некоторыми семьями декабристов, знаком был

¹ К. Д. Кавелин. Авдотья Петровна Елагина.— Собр. соч., т. III. СПб., 1899, с. 1115—1132.

с Г. С. Батеньковым¹. Все это отразилось на широте салонных встреч у Елагиных: кто только из замечательных русских людей не перебывал у них!

Здесь бывали в свое время Пушкин, Вяземский, И. Дмитриев, продолжал быть завсегдатаем А. И. Тургенев, рассказывавший о своих бесчисленных связях и знакомствах в Европе. С 1829 года прижился здесь дерптский «бурш» поэт Н. М. Языков, внесший свой вклад в формирование славянофильских настроений. С середины 30-х годов состав гостей начал меняться. С 1838 года стал посещать салон Гоголь, который здесь читал первые главы своих «Мертвых душ». В подмос-

¹ Семейство Елагиных поддерживало связи с сосланным в Сибирь Г. С. Батеньковым (см. публикацию М. Гершензоном писем в «Русских пропилеях», т. 2. М., 1916, и в сб.: «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля», изд. Государственной Библиотеки им. В. И. Ленина, М., 1936). Приведем несколько неопубликованных свидетельств, характеризующих как Елагиных, так и Батенькова: эти материалы могут оказаться полезными для обстоятельного исследования чрезвычайно сложной специальной темы о противоречивых связях славянофилов с декабристами. В письме к И. Киреевскому из Томска от 3 июня (год не указан, но можно предположить, что 1852, так как в письме говорится о скором шестидесятилетии Батенькова, а он родился 23 марта 1793 г.) Батеньков припоминал прежние годы: «Из малолетних Елагиных никто меня лично помнить не может. Но вы с братом (то есть Иван и Петр Киреевские.—В. К.) были уже моими друзьями до эпизода смерти и воскресения, хотя неполного (так Батеньков называл свой арест и ссылку.—В. К.), но все же не гробового и безгласного. Эпизод, говорю, а не перерыв, ибо чувства мои к вам не умрали». Центральный Гос. архив литературы и искусства (в дальнейшем сокращенно — ЦГАЛИ), ф. 236, оп. 1, ед. хр. 38. Батенькову не чужд был религиозный мистицизм, и славянофилы поддерживали в нем набожность. Мария Васильевна Киреевская (сестра Ивана и Петра Киреевских) в своем дневнике записала 5 сентября 1846 года о Батенькове: «...какое счастье бы было лелеять, ходить за ним! Телерь можно к нему писать, знать о состоянии его души, верно верующей!» — Гос. Библиотека СССР им. В. И. Ленина (в дальнейшем сокращенно — ЛБ), ф. Елагиных, № 25, ед. хр. 11.

ковном имении в Ильинском в 30-х годах Петр Киреевский приступил к записям народных песен. Именно в салоне Елагиных зимой 1839 года Хомяков впервые прочел свою полемическую записку «О старом и новом».

Из салона Елагиных вышли близкие славянофильству люди, на которых возлагались большие надежды: историк и статистик Дмитрий Валуев, историк, профессор университета А. Н. Попов, художник Э. А. Дмитриев-Мамонов. В 40-х годах здесь стали бывать юные Ю. Ф. Самарин, Константин Аксаков, а также «западники» Герцен, Огарев, Н. М. Сатин.

Славянофилы гордились еще и тем, что и близких к ним людей связывали родственные узы¹.

Славянофилы еще при жизни прослыли анекдотическими чудаками. Писарев называл Ивана Киреевского «русским Дон-Кихотом». Чтобы быть верным своему учению о превосходстве всего русского над иностранным, Хомяков и Константин Аксаков «боролись за русскую одежду» (С. А. Венгеров), рядились в зипуны и мурмолки, носили бороды, как крестьяне или допетровские бояре. Ведь и их антагонист, западник Чаадаев, всегда появлявшийся в салонах изысканно одетым, как денди, в ослепительно белом галстуке, по словам его племянника мемуариста, «искусство одеваться... возвел

¹ Мать Хомякова — Мария Алексеевна — урожденная Киреевская. Свербеевы были в свойстве с Елагиными, а поэтому и с Киреевскими вследствие брака Анны Александровны, сестры Екатерины Александровны Свербеевой, с Александром Ник. Елагиным, родственником Авдотьи Петровны. Хомяков был женат на сестре поэта Языкова, Екатерине Михайловне. А ее сестра была матерью Дм. Валуева. В родстве с Валуевым был Василий Алексеевич Панин, издатель славянофильских сборников, а также родней он находился Аксаковым, так как его сестра Екатерина Алексеевна была замужем за Николаем Тимофеевичем Аксаковым, братом писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. По женской линии Д. Н. Свербеев был троюродным братом Языковых и потому дядей Валуева. Родство росло и дальше: Иван Аксаков женился на дочери поэта Ф. И. Тютчева, близкого по настроениям славянофилам.

почти на степень исторического значения»¹. И разночинцы-демократы рядились под мужика во время «хождения в народ». И граф Лев Толстой «опрощался», ходил босиком и пахал. У серьезнейшего и трезвейшего из писателей Чернышевского в «Что делать?» радикал Рахметов слыл «особенным человеком» и для себя перенял манеры волжского богатыря, простолюдина Никитушки Ломова. Все это, конечно, по истокам и значению вещи разные, но, как видим, даже у всякого величия есть свои фарсовые стороны.

Главной фигурой славянофильского движения и его основателем был Алексей Степанович Хомяков. Так единодушно думали о нем его современники.

Хомяков был, конечно, самым образованным, самым умным и талантливым среди своих сподвижников. Он был очень импульсивен и живо откликался на современные события: на греческое, польское восстания, на перенесение праха Наполеона, болгарское, сербское освободительное движение, на деятельность чешских просветителей. Все обращения к славянам в стихах и манифестах принадлежали Хомякову или были им вдохновлены. Он высказывал свои убеждения ярко,зывающе, полемично: «Мнение иностранцев об России» (1845), «Мнение русских об иностранцах» (1846). Он был менее односторонен, чем, например, Константин Аксаков, и старался совместить свои утопические построения с фактами истории, с опытом развития Запада («Письмо об Англии», 1848), с критикой уклада древней Руси (стихи «Не говорите: «То былое...», «России»).

Он поставил вопрос «О возможности русской художественной школы» (так называется одна из его статей 1847 года), теоретически обосновывал ее исходные начала в предисловии к собранию русских народных песен

¹ М. Жихарев. Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника.— «Вестник Европы», 1871, т. IV, № 7, с. 183.

Петра Киреевского (1852), в программной статье первого номера «Русской беседы» (1856), в речах в качестве председателя Общества любителей российской словесности при Московском университете.

Он был старшим по возрасту, шел из декабристского поколения, сотрудничал в «Полярной звезде», служил в армии, как и почти все молодые люди его времени. Но он во всем отличался от этого поколения: как-то не подпадал ни под один из известных тогда типов людей.

В этом отношении любопытны два архивных документа, которые не в полном составе, а лишь в выдержках и пересказах приведены в старой монографии В. З. Завитневича о Хомякове.

Эти документы — записи о молодости Хомякова, о начале его общественно-политического воспитания, о его отношении к декабристам. Эти материалы драгоценны, их важно процитировать полностью. Записи сделаны дочерью Хомякова Марией Алексеевной со слов его самого, еще при жизни, в третьем лице¹. Есть и еще одна неопубликованная запись, черновая.

В первом документе рассказывается следующее. «В начале 1815 года Степан Александрович Хомяков (отец.— В. К.) приехал из деревни в Петербург с двумя сыновьями, Федором и Алексеем. Последнему шел тогда 11-й год. Оба мальчика, наслушавшись военных рассказов, как все дети, мечтали, что они будут драться против Наполеона, так что им стало жалко, когда через несколько месяцев пришло известие о Ватерлооском деле. «С кем же ты теперь будешь драться?» — спросил старший брат младшего. «Буду бунтовать славян», — отвечал Алексей Степанович, сам теперь не умеющий объяснить, откуда ему пришла тогда такая идея. Он думает, что мысль о славянах и их освобождении внушена ему

¹ П. И. Бартенев частично использовал их в поминальной речи о Хомякове («Русская беседа», 1860, кн. 20, приложение, с. 31—34).

была лубочными портретами Кара Георгия¹, которые ему попадались почти на каждой станции по дороге из деревни в Петербург.

Через семь лет, зимою 1821 года, этот же мальчик вдруг вздумал бежать из родительского дома драться за греков и бунтовать славян. Тут было другое внешнее влияние. У них жил прежде гувернером некто Арбе, перешедший потом в дом к князю Маврокордато. Он сделался агентом филелленов, часто езжал к Хомяковым, рассказывал о греческом восстании и замечал, что бывший его воспитанник очень жадно слушает рассказы его, вошел с ним в ближайшие сношения и не задумался достать ему фальшивый паспорт. 17-летний Хомяков, взяв какие были у него деньги (50 рублей ассигнациями), запасвшись засапожным ножом, в валяной шинелишке, ушел вечером из дома (на Кузнецком мосту, где магазин Люке) и уже добрался до Серпуховской заставы, но тут его настигла погоня из дома. Дело в том, что старый лакей Артемий возымел подозрение, что значит, что дитя долго не возвращается, и послал за барином в Английский клуб. Степан Александрович тотчас сделал допрос старшему сыну Федору и скоро вынудил признание о побеге брата. Посланы были люди ко всем заставам и привели назад молодца. Его мало бралили, но старшему брату за то, что допустил, досталось»².

Этот документ позволяет понять мотивы патриотического воодушевления юного Хомякова.

А вот второй документ, показывающий резкое расхождение Хомякова с декабристами.

«В половине 1825 года, в Петербурге, на Васильевском острове,— записала Мария Алексеевна Хомяко-

¹ Этого Георгия Черного, как известно, позднее воспел А. С. Пушкин в «Песнях западных славян».

² Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (Москва) (в дальнейшем сокращенно — ГИМ), ф. 178, ед. хр. 1, л. 15 и об.

ва,— жило двое братьев Мухановых. Старший Александр Алексеевич, второй Николай (ныне почетный опекун в Москве). Оба они были люди военные. К ним нередко собиралась молодежь, и по обычанию того времени все они вольнодумничали. Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна — необходимость конституции и переворота посредством войска. События в Неаполе, подвиги Риего и составляли предметы разговоров. Посреди этих нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая беззаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и делаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой.

Кн. Одоевскому (Александру Ивановичу.— В. К.) этот противник революции надоедал, уверял его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства.

Человек этот А. С. Хомяков. С тех пор и до сего дня он держится тех же мыслей. И правительство все-таки видит в нем революционера¹.

Последняя фраза заслуживает внимания, она явно верноподданнического характера. Не написан ли этот документ о лояльности в 1854 году, за шесть лет до смерти, когда над Хомяковым нависла угроза высылки

¹ ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 16 и об.

из Москвы в связи с его стихотворением «России», в котором он клеймил «иго рабства», «черную неправду» в российских судах, беззаконие?

Процитируем и третий, еще не публиковавшийся архивный документ. Тут есть штрихи, свидетельствующие о том, что противник декабризма Хомяков сочувствовал участи этих людей и радовался их амнистии. «Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли после все декабристы. И он сам говорил, что, возможно, попал бы под следствие как знакомый и друг многих из них, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева (то есть не только у Мухановых.—В. К.) он бывал часто и горячо опровергал политические мнения и его и А. И. Одоевского, настаивая, что всякий военный бунт, революция сам по себе безнравственен».

С декабристами он оставался в отношениях дружбы во время их ссылки и радостно приветствовал их помилование при Александре II и виделся с Н. И. Тургеневым, Батеньковым, кн. Волконским, Трубецким, гр. Вас. Толстым и другими и с их семьями. Дальше говорится о том, что с семьей декабриста П. Х. Граббе Хомяковы даже породнились, и Граббе часто вспоминал тепло о Хомякове. А в конце записи следует загадочная фраза: «Он (то есть Хомяков.—В. К.) успел сжечь все свои бумаги о сношениях с декабристами»¹. Загадочность фразы в следующем: когда именно Хомяков сжег компрометирующие его в чем-то бумаги, сколь они на самом деле были опасны?

Ясно, во всяком случае, главное. Хомяков в разгар декабристского движения, находясь в тесных контактах с его деятелями, спорил с декабристами, готовясь предложить иной путь для молодой России.

¹ ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 42 и об.

Еще при жизни Хомякова начал складываться искривленный культ его личности как вождя славянофильства.

В честь умершего Хомякова было проведено специальное заседание Общества любителей российской словесности с воспоминаниями о нем виднейших ученых и литераторов: М. П. Погодина, П. И. Бартенева, М. Н. Лонгинова, А. Ф. Гильфердинга, Ю. Ф. Самарина и др. Воспоминания были немедленно напечатаны в «Русской беседе» (1860, кн. 20).

Прислушаемся внимательнее, за что хвалили Хомякова его поклонники. Хвалили за эрудицию. Кошелев перечисляет области интересов Хомякова: философия, богословие, история, механика, математика (окончил математический факультет Московского университета кандидатом), эстетика, политика, поэзия, публицистика, индоевропейские языки, санскрит, русская грамматика, археология, юриспруденция, крестьянский вопрос, агрономия, живопись (известен его автопортрет маслом 1842 года, оригинал висит в музее в Абрамцеве, в Париже во время заграничной поездки он даже брался расписать церковь). Кроме того, Хомяков увлекался винокурением, сахароварением, гомеопатией, медициной (лечил своих крестьян от холеры); Хомяков изобрел машину с «сугубым давлением», которая экспонировалась на Лондонской выставке, изобрел особое тяжелое оружие из патриотического побуждения помочь обороне Севастополя, составлял планы земских банков, занимался охотой, знал все породы собак и лошадей, получил первый приз в обществе по меткой стрельбе, в молодости был храбрым офицером во время службы в Дунайской армии, был неутомимым рассказчиком, собеседником, читал наизусть целыми страницами в пол-лининах Шекспира, Гете, Байрона, изучал мудрость Эдды, Буддийскую космогонию.

Бартенев видел особенное достоинство Хомякова в том, что он «был вполне крепок земле русской»; для

всех было аксиомой, что Хомяков — первый, кто пытался свергнуть рабство нашей мысли перед Западом, он возбуждал в русских сознание своих народных и общечеловеческих начал. И все же его друзья как-то темно писали о заслугах Хомякова: так ли уж он выступал за самобытность против подражания Западу? И что такое самобытность в столь туманном толковании? Или Кошелев писал: Хомяков указал на роль православия в развитии русского народа, провозгласил великое будущее России, связывал судьбу России с остальным славянством, а в крестьянах угадал задатки самобытности, и, не будучи сам либералом, никогда за либерализм не ругал других¹.

Каждый пункт, конечно, требует уточнения. Роль православия? В прошлом она известна. Но во времена Хомякова? Ведь эта идея кажется значительной только тому, кто сам уверовал, что православие — единственная основа русской жизни. Что значит — указал великое будущее России? О великом будущем писали и Герцен, и Белинский, но видели они его совсем в другом. Что касается забот о славянстве, то они у Хомякова во многом оказались родственны реакционному панславизму.

Видели или не видели другие деятели той эпохи слабые стороны Хомякова? Послушаем и западников. Оказывается, уже тогда многие относились к Хомякову крайне отрицательно.

Например, Белинский был опечален письмом Герцена, в котором тот расхваливал ум Хомякова, его искусство спорить. Белинский писал В. П. Боткину 6 февраля 1843 года по этому поводу: от герценовских слов «ночахивает» «умеренностью, благоразумием житейским», то есть филистерством, примиречеством. «Он

¹ Все эти формулировки и высказывания имеются в материалах памяти Хомякова, напечатанных в «Русской беседе». См. также: «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 124 и др.

толкует, что г. Хомяков — удивительный человек, что он, правда, лежит по уши в грязи, но — видишь ты — и страдает от этого. А в чем выражается это страдание? В болтовне, в семинарских диспутах *pro* и *contra*» (за и против.—*B. K.*). Белинский потребовал определить содержание споров, а не самую технику спора ради спора. «Я знаю,— продолжал Белинский,— что Хомяков — человек не глупый, много читал и, вообще, образован: но мне было бы гадко его слышать, и он не надул бы меня своею диалектикою...»¹

Три крупных историка того времени, западника и «государственника», К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев и Б. Н. Чичерин оставили самые резкие характеристики Хомякова. Историки немало провели баталий со славянофилами по вопросу о том, что не семейное начало, а родовой быт, как и у других народов, определял в древности весь уклад русской жизни. Вопрос — принципиальный, так как он разрушал все идеалистические построения славянофилов.

Соловьев явно в гротескном плане рисует портрет Хомякова, но вряд ли историка можно заподозрить в искажении истины: «Хомяков — низенький, сутуловатый, черный человечек, с длинными черными косматыми волосами, с цыганской физиономией, с дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед каюю уверткою, ни перед какою ложью: выдумать факт, процитировать место писателя, которого никогда не бывало, Хомяков и на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей»².

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 130.

² «Записки С. М. Соловьева». — «Вестник Европы», 1907, кн. 5, с. 30.

Чичерин считал, что из своих знаний Хомяков делал удивительный винегрет; яркий спорщик, как Герцен, он уступал Герцену в «добросовестности», прибегал к «беззастенчивой софистике» и даже «легкомысленному шарлатанству», а иногда и с цинизмом, словно забыв прежде говоренное, отзывался о русском народе уничижительно: сей народ так инертен, что «не выдумал даже мышеловки»¹. Хомяков «больше сбивал, чем убеждал». Чичерин считал, что вообще славянофильство было делом «досужих московских бар, дилетантов в науке»².

Человеком совсем иного типа был другой вождь и теоретик славянофилов Иван Васильевич Киреевский. Он сделался славянофилом, выйдя из круга «архивных юношей», «любомудров». Трудно его представить вне кабинета, например, как Хомякова, на коне, с шашкой в руке.

И поэтического таланта у него не было³. Иван Киреевский был человеком философской складки ума и обладал незаурядным критическим талантом. Его

¹ Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов, т. 2. М., 1929, с. 225—229.

² О «дилетантизме» Хомякова и Ивана Киреевского прямо пишет П. Христофф, употребляя сам этот нелестный термин (см.: P. Christoff, v. 2, p. 334); о «компилиативности» очерка Хомякова по мировой истории, так называемой «Семирамиды», пишет критически Н. Рязановский, см.: Nicholas V. Riasanovsky. Russland und der Westen. Die Lehre der Slawophilen. Studie über eine romantische Ideologie. München. 1954, S. 66—67 и сл.

³ В 1827 году по совету кн. П. А. Вяземского он написал для салона Зинаиды Волконской рассказ со стихами «Царицынская ночь», весьма слабый. В нем отразились некоторые размышления автора о смысле жизни, напоминающие настроения героев унылых элегий Жуковского (место действия рассказа — недостроенный дворец, парк и пруды в Царицыне под Москвой). Потом он написал уточнический рассказ «Остров» (1838), опубликованный почти через двадцать лет в «Русской беседе», в котором выражена мечта писателя об идеальном общественном устройстве; в литературном отношении — это слабое произведение.

статьи высоко ценил Пушкин. Можно определенно говорить о нем как об одном из предшественников Белинского в решении некоторых важных проблем истории русской литературы: в разработке ее периодизации, общем определении особенности творчества Пушкина как «поэта действительности». Интересны его статьи: «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828), «Обозрение русской словесности за 1829 год» (1830) и др.

Начав интенсивно свою литературно-критическую деятельность и вращаясь даже в кругах, где бывали Рылеев и Пущин, Киреевский с самого начала пошел другим путем.

В 1830 году Киреевский отправился за границу, где усердно изучал философию. В Берлине он лично познакомился с Гегелем, Гансом, Шлейермахером, Гуфландом, а в Мюнхене — с Шеллингом (там же слушал лекции и его брат Петр Киреевский). Через восемь месяцев Киреевский вернулся, зараженный «отрицательными» впечатлениями от заграницы. Но тогда он еще был полон симпатий к своему «второму отечеству», Западу. В 1832 году он начал издавать журнал «Европеец», он считал, что журнальные занятия оживят его деятельность: «...они окружили бы меня *mit der Welt des europäischen wissenschaftlichen Lebens* (атмосферой европейской научной жизни.—*B. K.*) и этому далекому миру дали бы надо мной силу и влияние близкой существенности». Он намеревался выпускать журналы на трех языках, «вникать в самые замечательные сочинения первых писателей теперешнего времени...», «я из своего кабинета сделал бы себе аудиторию Европейского университета... Русская литература вошла бы в него только как дополнение к Европейской...»¹. Он собирался говорить о Крылове, Карамзине, Жуковском, Пушкине,

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1911, с. 224.

Баратынском, Вяземском. Это были бы страницы, «не запачканные именем Булгарина». Однако журнал был закрыт властями на третьем номере. Киреевский был оставлен «в подозрении».

В статье «Девятнадцатый век», из-за которой был закрыт «Европеец», содержались идеи прославянофильского толка. Уже здесь затевался долгий разговор об «отношении» русского просвещения к просвещению остальной части Европы, о реформах Петра I, которые не были плодом «нашей внутренней жизни», а лишь «переломом», «внешним нововведением», о необходимости сближения религии с жизнью людей и народов, наконец, о коренных отличиях русской истории от европейской. Все колкости против «европеизма» с его суетным практицизмом напоминают приемы полемики будущего славянофильства.

После женитьбы И. Киреевский ушел в семейные и хозяйственныe заботы и до 1845 года, оставив всякую общественную деятельность, жил в Долбине; Грановский и даже Погодин упрекали его в лености и апатии.

В 1845 году славянофилы решили оживить свою деятельность, и Киреевский стал редактором «Москвитина», успел выпустить только первые три номера журнала. Нелады с Погодиным привели к отказу от редакторства. Знаменательной в журнале была статья Киреевского «Обозрение современного состояния литературы»..Она была публикой воспринята как литературный манифест славянофильства. И все же статья успеха не имела. При всей эрудции автора, метких отдельных замечаниях по адресу меркантильности западной литературы и журналистики от статьи веяло какой-то схоластикой, отсутствием чувства реальности, доморощенностью применяемых критериев. Было в ней слишком много общих слов и заклинаний. Литературный процесс, выдающиеся произведения русской литературы не были проанализированы. Можно определено считать,

что «Москвитянин» под редакцией Киреевского провалился, и причина этого не в стычках с Погодиным. Киреевский отрекался от былой программы «Европейца». Готовясь выступить перед публикой, он писал 28 января 1845 года Жуковскому: «...западная словесность не представляет ничего особенно властивого над умами...»¹ Православные начала — духовные и умственные — должны найти сочувствие. В образованном обществе, жившем до сих пор на вере в Западные системы, христианские истины должны завоевать умы. «Отношение этого чистого христианского начала к так называемой образованности человеческой составляет теперь главный жизненный вопрос для всех мыслящих у нас людей...»² С таким кредо, уводящим читателей в дебри сколастики, журнал вести было нельзя.

Славянофилы взамен неудавшегося журнала стали выпускать отдельные сборники статей. Первый из них, «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных», вышел в 1845 году под редакцией Дмитрия Валуева. Затем вышли два «Московских литературных и ученых сборника» на 1846 и на 1847 годы. Но в них Киреевский не участвовал. Он принял участие только в «Московском сборнике» 1852 года. В нем Киреевский опубликовал статью «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Но по сравнению с прежней его статьей здесь ничего нового не имелось.

В самом конце жизни Киреевский разрабатывал чрезвычайно отвлеченную проблему «О необходимости и возможности новых начал для философии» (так называется его статья в журнале). Решение этой пробле-

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 1, с. 236.
² Там же, с. 237.

мы сводилось Киреевским к признанию спасительного значения «философии откровения», то есть по существу к полному отказу от философии. Проникнутый религиозным экстазом (об этом подробно рассказал Герцен в «Былом и думах»), Киреевский в последние годы стал очень религиозным, ездил к своему духовнику Оптинскому старцу Макарию и проводил с ним время в благочестивых беседах.

Можно согласиться с Кошелевым, сказавшим об Иване Киреевском: «Он был очень умен и даровит; но самобытности и самостоятельности было в нем мало...»¹.

Несколько в тени брата всегда у историков остается фигура Петра Васильевича Киреевского. Конечно, его вклад в теорию славянофильства скромнее. Но он вовсе не был чужд общему их делу, как иногда о нем говорят фольклористы (М. К. Азадовский, А. Д. Соймонов и др.)².

Собирать народные песни Петр Киреевский начал еще с 1831 года. Можно сказать, все русские писатели приняли участие в составлении собрания Киреевского. Пушкин отдал ему свои записи. Ему подарили свои собрания Гоголь, Кольцов, Языков, А. Тургенев, П. Якушкин, Востоков, Шевырев, Кавелин, Жадовская, Писемский, Мельников-Печерский.

Первоначально главный интерес Киреевского вызывали исторические, любовные, свадебные, обрядовые, разбойничьи, солдатские песни, а позже — духовные стихи. В 1838 году Петр Киреевский вместе с Языковым опубликовал «Песенную прокламацию» в «Симбирских губернских ведомостях», в которой была высказана типичная для славянофилов теория понимания фоль-

¹ «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 73.

² Слишком искусственно отделяет от славянофилов Петра Киреевского и П. Христофф в указ. монографии об Иване Киреевском, см. с. 344.

клора. Киреевский считал песни «живой народной литературой». По вариантам он старался гипотетически восстановить архетип песни, никогда не существовавший. У него была типично славянофильская иллюзия относительно незыблемого, «целостного» народного творчества. Он скорбел о губительном влиянии городов, «промышленной деятельности», о нравственной порче прекрасной русской песни. В конце 30-х годов, когда созрело славянофильство, при помощи Языкова пополнилось именно собрание духовных стихов. Они и составили первую прижизненную публикацию Киреевского, появившуюся в 1848 году в «Чтениях общества истории и древностей». Это принципиальный момент, доказывающий приверженность Петра Киреевского славянофильству. Предисловие Хомякова к публикации стихов, согласованное в основных положениях с Киреевским, приобретало программное значение: оно провозглашало религиозность как исконную черту русского народа, он песнями хотел опровергнуть «чаадаевщину»¹.

После смерти Киреевского Хомяков и его друзья, отеснив от дела демократически настроенного П. Якушкина и передав права на подготовку издания идеино-близкому им П. Бессонову, осуществили в десяти выпусках частичную публикацию остальной доли собрания (1860—1874).

Письмо Петра Киреевского к Погодину по поводу его труда «Параллель русской истории с историей западных европейских государств» было типично славянофильским, оспаривало варяжскую охранительную концепцию истории Руси².

¹ См.: М. К. Азадовский. Литература и фольклор. Л., 1938, с. 150.

² ЛБ, ф. Елагинах, № 11, ед. хр. 13. Вариант письма опубликован в «Москвитянине», 1845, № 3.

В сохранившейся в архиве полемической заметке Петра Киреевского о равенствах всех вер (он не признавал равенства) проводится типично славянофильская мысль: католики верят в непогрешимость папы, протестанты — общечеловеческого разума, православные же «в непогрешимость *соборной апостольской церкви*¹. Это, конечно, по Киреевскому, и есть истинная вера. Рукою Кошелева записаны следующие мысли Петра Киреевского: «В чужеродных произведениях не может быть полноты национальной жизни», а что такая национальная жизнь? — она неуловима, но зиждется на «предании», подражание — это «безжизненность»² и проч. Перед нами «общие места» славянофильской доктрины.

Приверженность Петра Киреевского кастовой славянофильской школе ярко проявилась в его отношении к памфлету Языкова против западников «К ненашим» (1844). В домах Елагиных, Аксаковых не одобряли этих стихов. В них были выпады против Грановского, Чаадаева и Герцена. Но Петр Киреевский одобрил памфлет Языкова. В столкновении Грановского с Языковым из-за этих стихов, чуть ли не приведших к дуэли, которую, по словам Герцена, едва удалось предотвратить, Петр Киреевский стал на сторону Языкова.

По сравнению с братом, Петр Киреевский обладал более цельным и твердым характером. Он ближе по типу людей к Хомякову, чем к брату. Нужно поверить Герцену, который писал в «Былом и думах»: «Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в «православном славянизме...»³ В его угрюмом национализме было полное отчуждение всего западного. В отличие от своего брата, он не мирил религию с наукой, за-

¹ ЛБ, ф. Елагиных, № 11, ед. хр. 18.

² Там же, ед. хр. 17.

³ А. И. Герцен. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 160.

падную цивилизацию с московской народностью. Компромиссы он отвергал начисто.

Обратимся теперь к другому семейству, к Аксаковым. С голоса современников С. А. Венгеров назвал Константина Сергеевича Аксакова «передовым бойцом славянофильства». В каком же отношении можно было прослыть «передовым» после такого «бойца», как Хомяков? Единственно — темпераментом в борьбе и демонстративным разрывом с Белинским.

Тут важен именно раскол в поколении. К декабристам у Хомякова была с самого начала политическая неприязнь. С «любомудрами» будущие славянофилы дружили, особенно с Веневитиновым. Со многими либералами — западниками и даже с Герценом они находили общий язык до 1844 года. В 1842 году произошел раскол: друзья, какими долгое время были Аксаков и Белинский, во многом схожие по темпераменту, оба прошедшие в кружке Станкевича школу гегелевской диалектики¹, рассорились. Сражение произошло на страницах печати по поводу выхода в свет первого тома «Мертвых душ» Гоголя.

Новых идей по сравнению с Хомяковым и Иваном Киреевским Аксаков не вносил. Он умел общие положе-

¹ Хотя в целом, видимо, следует согласиться с Г. В. Плехановым (см. статью «М. П. Погодин и борьба классов»), что гегелевскую диалектику славянофилы в целом не постигли, все же К. С. Аксаков специально ею занимался. Он даже чувствовал свое превосходство над другими славянофилами в этом вопросе. В письме к родным, по-видимому, 1845 года, есть пометка: «Я нахожу время отдать раза два в неделю на Гегеля. Какая глубина! Его не вдруг узнаешь, на каждой странице глубже и глубже вникаешь в значение; я уверен, что он мало знаком настоящим образом нашим гегелистам, особенно таким звонким болтуналам, как Хомяков» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 40). Это писалось, видимо, в разгар работы над магистерской диссертацией о Ломоносове, где в построениях автора чувствуется влияние гегелевской триады.

ний славянофильской доктрины популяризировать, заострять до парадоксов.

В глазах «своих» он был «Константином Великим», «почтенным и великим гражданином Москвы»¹. Родной, с бородой и сильным голосом, в старорусской одежде и сапогах, разгуливал он по улицам Первопрестольной.

Незаурядный знаток русской грамматики², он писал, однако, с неуклюжими оборотами: его характер как бы мешал ровному стилю. Но говорил он страстно, интересно. В своем служении «чистоте знамен» он заходил так далеко, что руки не подавал тому, кто при нем хвалил Петербург, этот «позор России». Но и от «гнилых союзников» он опекал славянофильское движение.

Древняя Русь была для него идеалом благополучия, и он доходил до парадоксов в ее защите и славословии.

¹ «Дневник Елизаветы Ивановны Поповой», с. 10.

² Это, конечно, специальный вопрос. Укажем лишь, что В. В. Виноградов в работе «Русский язык» (посл. изд. 1972) отмечал множество заслуг К. С. Аксакова как автора рецензий на «Основания русской грамматики» Белинского (1839), статей «Несколько слов о нашем правописании» (1846), «О русских глаголах» (1855). Предложения Аксакова в толковании значения слов женского рода на «а» в передаче рода уточнили и углубили позднее Буслаев и Потебня. Его соображения о значении суффикса «ище» в словах среднего рода, выражающих странность, необыкновенность явления (чудище), а также о ласкательных, увеличительных или уничижительных образованиях, передающихся в русском языке не разными словами, а формами того же слова (домик, домице, домишко), поддержал Шахматов. Философское объяснение связей между предметом и качеством и его выражением в качественных прилагательных было позднее углублено Потебней и Пешковским. Г. Павский солидаризировался с Аксаковым в объяснении соотношения порядковых числительных с прилагательными. Дальнейшую разработку получили мысли Аксакова о грамматическом своеобразии множественного числа существительных, о связях между предлогами и падежами, о местоимениях, наречиях, о принципах залоговых различий в учении Фортунатова.

Он был в восторге от ее быта (его статья «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» напечатана в «Московском сборнике» 1852 года). В статье «Богатыри времен величного князя Владимира. По русским былинам» («Русская беседа», 1856, кн. 3) он возвеличивал новгородское вече и московских царей, якобы совещавшихся с народом при решении важных дел. Он везде видел только согласие и любовь. Аксаков не допускал какой-либо критики Руси, считая, что она страданием и смирением искупила все грехи; он об этом говорил в полемическом послании Хомякову «Поэту-укачивителю». Аксаков доказывал, что семейное начало лежит в основе государственного образования России, что есть особенное, характерное для всех классов «русское воззрение» на вещи (статья «О русском воззрении», 1856).

Только однажды Аксаков попытался построить русскую историю по гегелевской триаде. В диссертации «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1846) у него получалось так, что Петр Великий был закономерной антitezой отсталой Древней Руси. Это расходилось со славянофильской доктриной. У Аксакова был слишком отвлеченный ум, чтобы эффективно практически действовать. От него всегда можно было ожидать экстраординарного поступка, «необдуманного порыва патриотизма» (сокровенная формула в одном из цензурных дел той эпохи). Он считал, что столетний юбилей Московского университета в 1855 году власти до невозможности забюрократизировали. Уговорил друзей отметить дату по-сектантски, в узком кругу у Самарина.

На обеде в честь юбилея М. С. Щепкина в 1855 году он провозгласил в присутствии двухсот человек, среди которых были генералы от полиции Перфильев и почетный Назимов, тост в честь «общественного мнения». В издаваемой им газете «Молва» в 1857 году он

вел довольно смелый разговор с публикой о готовящихся реформах и дразнил цензуру фразами вроде следующей: «Простой народ есть основание всего общественного здания страны». Он выступал против смертных казней, укорял за компромиссы в этом вопросе Жуковского.

Но в том же году мы видим его совсем в другой роли, и она также вытекала из его славянофильской сущности. С согласия своих друзей, после предварительного обсуждения, Аксаков подал через министра внутренних дел графа Д. П. Блудова на высочайшее имя (предназначалось это Николаю I, но за его смертью подано Александру II) «Записку о внутреннем состоянии России» (опубликована только в 1881 году в газете «Русь»). В записке предлагались меры по улучшению положения крестьян. Но все меры рассматривались с точки зрения спасения существующего строя, русский народ объявлялся якобы не заинтересованным в политике, охотно отдающим ее в руки властей; народ лишь хотел, чтобы к нему прислушивались и с его просьбами считались. Аксаков добровольно включил себя в число либеральных советчиков царя, чтобы все клапаны были открыты «сверху». Но власти по-прежнему косились на непрошеных и опасных мечтателей.

В предреформенную эпоху Аксаков оказался не у дел. Он переживал крушение своих иллюзий. Целиком ушел в грамматические штудии, сторонился «политики». После смерти отца в 1859 году он совсем впал в меланхолию. Прежде редко отлучавшийся из дома, он в 1860 году вдруг уехал за границу, на остров Занте. Через три недели Константина Аксакова не стало. Много маялись его родные: мать, сестра Вера и брат Иван, препровождая останки на родину. Пришлось согласиться на вскрытие тела и бальзамирование, на отпевание не по чисто православным обрядам. А что стоили им

хлопоты со всеми пароходными и железнодорожными компаниями, чтобы везти гроб не в трюме, а на палубе, чтобы дали отдельный вагон для проезда через «чужие» города Триест и Вену и через «свои» Динабург и Петербург. «Боже мой, за что такое наказание... и над таким человеком!»¹ — восклицала Вера Аксакова. И вот второй раз отпевают Аксакова в Москве и погребают возле «отесеньки» в Симоновом монастыре. А время, история — увы! — и Симонов не сберегли! Останки еще раз перекочевали на кладбище Новодевичьего монастыря.

Младший из братьев Аксаковых, Иван Сергеевич, по словам одного из современников, был умнее Константина, дальнеев и даже талантливее.

С этим, пожалуй, можно согласиться. Умнее — просто потому, что он не был заражен кружковым идеализмом и лучше знал жизнь как юрист, постоянно сталкивающийся с тем самым народом, который идеализировали его брат и другие славянофилы. И, пожалуй, талантливее. Стихи он писал не хуже Константина, и, так сказать, школа стиха у него была не традиционной, а новой, с использованием трехсложных размеров, как у Некрасова... Его стихи отражают раздумия не столько над доктриной, сколько над жизнью, можно сказать, над всей той повседневностью, которая — увы! — опровергала доктрину. Высокопарной драматургии в духе Хомякова и брата Константина он не создавал. Пробовал он себя в других жанрах. Поэма «Бродяга» (1852) содержит мотивы, предваряющие некрасовскую эпопею «Кому на Руси жить хорошо». Мистерия «Жизнь чиновника» (1843) и сцены «Присутственный день уголовной палаты» (1853) были под запретом в России, их опуб-

¹ См.: «Выдержки из «Дневника, писем и заметок Веры Сергеевны и Любови Сергеевны Аксаковых». В изд.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. II., т. 4. Приложение. СПб., 1896, с. 19.

ликовал за границей Герцен в сборниках «Русская поэтическая литература XIX столетия».

По окончании Петербургского училища правоведения (1842) он много ездил по России, служил в уголовном департаменте правительства сената, ревизовал Астраханскую губернию, служил в Калужской уголовной палате, в Министерстве внутренних дел, посетил Бессарабию по делам раскола, ревизовал Ярославскую губернию и здесь снова занимался делами раскола.

Белинский с ним встречался в Калуге в 1846 году, проездом на юг, и дважды отозвался о нем добрым словом.— «Славный юноша,— писал он Герцену.— Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом»¹. Аиненкову он писал о личном благородстве Ивана Аксакова².

Чиновник Аксаков был не просто исправный, но и наблюдательный, язвительный. Он не был бойцом идей. Он постоянно испытывал муки совести: «Недавно сидел я вечером в избе,— писал он родным в 1844 году,— где потолок был черен как уголь от проходящего в дыру дыма, где было жарко и молча сидело человек пять мужиков. Молодая хозяйка одна, с грустным выражением лица, беспрестанно поправляла лучинушку, и все смотрели на нас как-то странно. Мне было и совестно и тяжело. Это освещение в долгие зимние вечера, эта женщина без всякой светлой радости, проводящая рабочую жизнь, и мы, столь чуждые им... Право, есть на каждом шагу в жизни над чем позадуматься, если не сколько отвлечешь себя от нее...»³ И в другом письме он неожиданно отождествил славянофильский утопизм

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 296—297.

² Там же, с. 457.

³ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1. М., 1888, с. 44.

с западным утопизмом: «Я не разделяю мечты Константина, что можно нам, уже высочившим из сферы чистой национальности, сочувствовать вполне народу. Я сошел бы с ума, если б мне пришлось жить постоянно с мужиком,— мысль, которую Константин развивает <...> есть Жорж-Зандовская утопия»¹.

Окончательно извергвшись в благих намерениях начальства, потеряв вкус к службе, а также после допросов в III Отделении по поводу поэмы «Бродяга», Иван Аксаков в 1850 году подал в отставку.

Аксаков пошел добровольцем в ополчение во время Крымской войны. Но и тут его ждало разочарование: порядка нет, казну крадут. Не дошли до места, как Севастополь пал. Эпоха реформ несколько оживила деятельность Аксакова. Иван Аксаков, как и его друг Ю. Ф. Самарин и из старших А. И. Кошелев, превратились в добросовестных либеральных постепеновцев, по мелочам подправлявших ход реформ. Их толки о «гласности», «повышении самосознания» лишь свидетельствовали о том, что славянофильство как движение выдыхается и сливается с либеральным — буржуазным западничеством.

Иван Аксаков участвовал в издании «Русской беседы», в 1858—1859-х годах редактировал ее. В 1859 году, после долгих хлопот, издал два номера газеты «Парус» как «центрального органа славянской мысли», но газета на третьем номере была запрещена. В 1861—1865 годах он издавал другую газету, «День», в которой уже обнаружились явно консервативные тенденции, перерождение славянофильства в реакционный панславизм. В 1880—1885 годах эта тенденция еще более усилилась в его газете «Русь». И все же у Ивана Аксакова время от времени происходили инциденты с властями, поскольку Аксаков не все одобрял в ходе земской

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1, с. 418.

реформы, в дипломатии царизма на Берлинском конгрессе, забывавшего об интересах южных славян.

Русско-турецкая война 1877—1878 годов показалась славянофилам исполнением давних их чаяний об освобождении «православной» Русью болгар и сербов от гнета. В 1858—1878 годах Аксаков — один из руководителей Славянского благотворительного комитета. Вероятно, в общекультурном плане эта деятельность имела относительно полезный характер. Комитет помогал многим славянам получить образование в России, вы兵团 из нужды¹. Но в политическом отношении эта деятельность комитета была двусмысленной, так как она маскировала панславистские устремления царских властей, мешала размежеванию классовых интересов в общеславянском движении. Например, в польском вопросе в 1863—1866 годах Иван Аксаков был на стороне правительства, сближался с Катковым и другими.

Ворчливый оппонент славянофильства на его подъёме в 40—50-х годах, Иван Аксаков на последующих стадиях оказался его ярчайшим представителем и продемонстрировал весь процесс его вырождения. Погруженный все больше и больше в атмосферу социальной демагогии, он превращался в мирного деятеля буржуазного прогресса пореформенной России.

В конце 30-х годов в интимный круг славянофилов вошел близкий приятель Константина Аксакова по университету Юрий Федорович Самарин.

Этот аристократ получил блестящее домашнее воспитание. В 1838 году он окончил Московский университет. Здесь, помимо лекций профессора Павлова, прививавших вкус к философскому мышлению и, в частности, к

¹ См.: С. А. Никитин. Балканские связи русской периодической печати 60-х годов XIX века. Ученые записки Института славяноведения. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948. Его же: Славянские съезды шестидесятых годов XIX века. Славянский сборник. М., изд. Гос. Библиотеки им. В. И. Ленина, 1948.

системе Шеллинга и его учеников, на Самарина большое впечатление произвели лекции Погодина. В 1844 году Самарин защитил магистерскую диссертацию о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, в которой явно стал на сторону противников петровских реформ, борцов против унижения церкви, за старые патриаршие права. В 1840—1844 годах Самарин постепенно делается приверженцем славянофильства. Преодолевает свое былое увлечение Гегелем, системой которого хотел «оправдать» православие. Самарин в воспоминаниях с благодарностью говорит о Хомякове, который помог ему вернуть себе «целостное» религиозное воззрение и привить вкус к богословским проблемам. Он редактировал брошюры Хомякова по этим вопросам, изданные за границей на французском языке.

Самарин усердно изучал памятники древности и старался доискаться до «коренных начал» русской жизни. Именно в этих поисках погибали его незаурядные способности. Стало знаменитым в биографии Самарина его письмо депутату французского парламента Ф. Могену, который в 1840 году посетил Москву и побывал у Самарина в имении. Самарин разъяснял депутату: «Какое-то чудное предчувствие, предназначавшееся для России исключительной, своеобразной будущности, предохранило русский народ от безусловного влияния народов Запада, которые, может быть, в свою очередь, предчувствовали в нем соперника, которому суждено в будущем превзойти их»¹. Теперь влияние Запада на Россию кончилось; там религия переживает кризис, а в России воссияло с новой силой и чистотой православие. Русский народ особенно любит монаршую власть, не склон-

¹ «Русский архив», 1880, кн. 2, с. 263—264. О поисках французских политиков, искавших альянса между бонапартистской Францией и николаевской Россией, см. материал в «Литературном наследстве», т. 31/32. М., 1937, с. 496—508.

нен к бунтам. В этом также залоги его великого будущего. В подобных утверждениях Самарин и позднее был не оригинален и перепевал сказанное старшими славянофилами.

Для нас гораздо интереснее небольшая, чисто литературная часть наследия Самарина. Он был очень начитанным человеком. Как и его друзья по убеждениям, он поклонялся Гете и Шиллеру и, скорее, первому из них, более примирительно настроенному к действительности. Он советует Константину Аксакову прочитать сочинения Гегеля по эстетике, Баумгартина, книгу Шевырева «Теория поэзии», а также Гофмана («как я до сих пор мог не знать его») и повесть Шамисса «Петер Шлемиль», видимо, симпатичных ему мотивами отрешенности западного человека от прозаической буржуазной действительности. Самарин обладал достаточно независимым умом: он ядовито отзывался в одном из писем о стихах Хомякова на перенесение праха Наполеона, в которых доказывалось, что Россия победила великого полководца не силою оружия и своего военного гения, а молитвой, крестом, смирением. Он критически отзывался о парадоксах Шевырева в оценке «Мертвых душ», вовсе отрицавшего наличие сатиры в этом произведении.

Самарин — типичнейший из молодых славянофилов, подхвативший знамя движения. Он был солидарен с идеями брошюры Константина Аксакова о «Мертвых душах». В полную силу он показал себя как славянофильский критик на страницах «Москвитянина» в 1847 году, когда выступил с резкой статьей «О мнениях «Современника», исторических и литературных». Это был выпад против последовательного органа «натуральной школы» и самой школы. Самарин оспаривал основные положения Белинского. Великий критик придал должное значение этому выпаду и написал свою статью «Ответ «Москвитянину». Таким образом, на какой-то

момент Самарин (подписавшийся под своей статьей криптонимом М... З... К...) оказался в центре борьбы литературных партий, как бы сменив выдохшегося в полемике 1842 года своего друга Константина Аксакова. Но и позиции Самарина оказались разбитыми Белинским. Он высмеял эстетические претензии Самарина и отверг от нападок молодые таланты «натуральной школы».

Дальнейшая деятельность Самарина для нас не представляет интереса. Он всецело ушел в служебные дела как чиновник министерства внутренних дел, работал в комитете по устройству быта лифляндских крестьян. В дальнейшем деятельно участвовал в комитетах по улучшению быта помещичьих крестьян. Он составил еще до реформы записку «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» (1851—1853). Затем он, как и А. И. Кошелев, стал одним из деятелей реформы 1861 года. Тут славянофильство его утратило специфические черты. В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (1901) писал, что в этом деле никакой уже разницы не было, скажем, между Кошелевым и Кавелиным¹, и можно добавить: также и между Самариным и любым либеральным ревнителем царской реформы.

Его славянофильские настроения ярко выразились еще в двух эпизодах. В «Письмах из Риги, поданных по начальству» (1849) он заявил о том, что в Прибалтийских губерниях немцы сильно утесняют русских, что все русское там оскорбляется. Это заявление вызвало недовольствие немецко-остзейской партии и самого рижского генерал-губернатора: по высочайшему повелению Самарин был на двенадцать дней посажен в Петропавловскую крепость. Но потом его освободили, и после беседы с царем он был «прощен»: так всякое недоволь-

¹ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, с. 31.

ствие в 1849 году, окрашенное к тому же в славяно-фильскую неприязнь к «немцам», под горячую руку каралось. Затем в «Русской беседе» 1856 года он выступил с двумя чисто славянофильскими статьями: «Два слова о народности в науке» и «О народном образовании», вызвавшими бурную полемику. Статьи перепевали уже не раз говоренное славянофилами: образование нужно, чтобы лучше понимать молитву, а народность науки вся строилась на доказательствах необходимости приверженности православной вере, на софизмах: всегда русский лучше поймет всякое дело, чем иностранец, ибо это предопределено в самой крови русского...